

Балашов и Журавлев читают „Шинель“...

Два советских чтеца — Сергей Балашов и Дмитрий Журавлев показали свою новую работу — «Шинель» Н. В. Гоголя. Гениальная гоголевская повесть звучит у них по-разному, но у обоих это — своеобразное, подлинно творческое прочтение Гоголя.

С. Балашов появляется на эстраде, одетый в зеленый сюртук старинного покроя; на шее у него черный галстук, завязанный бантом, прическа чем-то напоминает известную по портретам прическу Гоголя. Весь облик артиста сразу переносит нас в другую эпоху. Перед нами не чтец Балашов, а современник Гоголя, современник петербургского чиновника Башмачкина, о судьбе которого он будет рассказывать.

«В департаменте... — начинает он и вдруг резко обрывает себя, — но лучше не называть, в каком департаменте...». И дальше он с таким резким раздражением, сарказмом и горечью объясняет, почему лучше не называть департамента, — «во избежание всяких неприятностей», что мы невольно начинаем думать, что этот человек в скромном зеленом сюртуке на самом себе изведаль, испытал «всякие неприятности».

Об Акакии Акакиевиче Балашов рассказывает, как об униженном и убитом «брате своем», рассказывает потрясенный, измученный, «прозенный» этой историей, которая, кажется, прошла на его глазах. Артист весь исполнен жгучего негодования, желчного сарказма против притеснителей Акакия Акакиевича, он весь горит любовью, состраданием к бедному человеку, говорит о нем с острым и страстным лиризмом, почти патетически. А когда бледный человек в зеленом сюртуке говорит о призраке, сдравшем шинели с богатых господ и наводившем страх на весь Петербург, его глаза загораются мстительным блеском, он делает сильный, угрожающий жест рукой. В этом страшном призраке воплощена для него вера в неизбежность кары, жажды мести, расплаты за горе и унижение.

Артист читает эти места повести с огромным пафосом, для него призраки почти реальны, как реальные тоска и затаенный гнев сотен обиженных маленьких, бедных людей. Некому пока защитить их, кроме призрака, так пусть вырастает он во всю свою грозную, зловещую силу, пугая «значительных лиц», как предвестник справедливого наказания! Поэтому, произнося последнюю фразу повести, Балашов не хочет замечать иронического полтекста Гоголя, он кончает рассказ на высокой ноте, подчеркивая торжественно-зловещее звучание слов нарастающей музыкой. Тема справедливого возмездия звучит сильно, но несколько абстрактно, почти мистически, гневный пафос Балашова становится тут чуть наивным.

В работе Балашова есть большой элемент театрализации, начиная с костюма и кончая введением музыки, игрой с вещами, смелым, подчеркнутым жестом и т. п. Говоря, например, о появлении призрака и смертельном страхе важного сановника, Балашов закрывает лицо рукой и так ведет весь этот большой кусок. Этот жест в соединении с текстом образно рисует и призрака и перепуганную физиономию «значительного лица», на котором в эту минуту не то, что значительного, а, как говорится, вообще лица не было.

Самое интересное в исполнении Балашова — это то, что в его рассказе слышится живая боль и гнев современника своего героя, что он говорит словно от имени человека той эпохи, — тогда оправданы и его костюм, прическа и многие резкие и страстные интонации, словно рожденные личной обидой, страданием и протестом. Почему же вдруг в конце первого отделения

он берет в руки книжку и зачитывает большой, очень важный в повести кусок? Зачем книжка Балашову, когда ему удастся убедить зрителя в том, что он рассказывает не о прочитанном, а об увиденном и пережитом? Недоумевая мы и тогда, когда Балашов берет шинель, садится в кресло и начинает показывать, как сдирал призрака шинель с плеч «значительного лица». Актер нарушает органичность им же самим задуманного и воплощенного образа, «обыгрывание» шинели кричаще не соответствует всему стилю этого тонкого и сложного рассказа-спектакля.

* * *

Д. Журавлев не прибегает к иным выразительным средствам, кроме силы художественного слова, скупого жеста и мимики. Этими простыми средствами он раскрывает «Шинель» очень своеобразно, по-новому. Пожалуй, он не сразу овладевает сочувствием слушателя, поначалу кажется, что он как-то суховат, даже жесток по отношению к Акакию Акакиевичу, и только потом начинаешь понимать замысел артиста, постепенно постигаешь глубину его творческих решений.

Да, Журавлев не вызывает у нас такого сочувствия к Акакию Акакиевичу, как делает это Балашов. Читая «Шинель», Журавлев выступает в защиту человека, образ которого искажен и унижен в лице Акакия Акакиевича. Ибо трагедия, воплощенная Гоголем, — не только в том, что был унижен, ограблен и убит Акакий Акакиевич, а главным образом в том, что человек стал, мог стать Акакием Акакиевичем.

Замысел Журавлева становится особенно ясным в свете замечательных мыслей Н. Г. Чернышевского по поводу «Шинели». Если, писал Чернышевский, положение человека «представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает... Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда, тяготеющая над человеком, может быть отстранена... Тогда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что нужно переменить и ему самому, чтобы изменилась его жизнь».

Дмитрий Журавлев, подходя к гоголевской повести от имени нашего современника, твердо верит в возможность выхода, в возможность победы над злом и насилием. Потому он «беспристрастно вникает» в обстоятельства судьбы Акакия Акакиевича и показывает его отрицательные качества, недостатки. Артист говорит о том, что социальное зло и насилие будет торжествовать до тех пор, пока униженный человек не выпрямится, не расправит спину, пока не проснется в нем голос протеста.

Даже Петрович кажется у Журавлева более значительной и глубокой натурой, чем Акакий Акакиевич. Ведь в этом пьяном, одурелом от водки портном вдруг просыпается артист, художник своего дела, он вкладывает в шинель все свое умение и старание, он волнуется и гордится ею, как своим лучшим созданием. Этот образ у Журавлева — яркий и выпуклый, начиная от первого его появления в рассказе, когда он сидит, подогнув под себя ноги, словно мрачный деревянный идол, и кончая тем торжественным днем последней примерки, когда в Петровиче просыпаются такие человеческие, «творческие» начала, которых нет в Акакии Акакиевиче.

Образ «значительного лица», погубившего Акакия Акакиевича, Журавлев характеризует однообразной, грозно-повелительной интонацией и утрированно величественной позой, словно скопированной

с официального, парадного портрета николаевской эпохи. И эта сознательная однокрасочность создает фигуру человека, поистине ужасного в своей ограниченности, жандармски тупого и бесчеловечного.

Журавлев воплощает образ страшного, каменно-равнодушного мира. Невольно вспоминается галерея будочников, призванных охранять порядок и защищать людей от всякого насилия, но на самом деле с удивительным спокойствием взирающих на все несчастья и ужасы. Нельзя забыть, как рассказывает Журавлев о будочнике, который невозмутимо стоял и смотрел на бегущего к нему ограбленного Акакия Акакиевича; нельзя забыть его широкий зовок в ответ на молбы и стоны бедного чиновника. Если Балашов в этот момент целиком захвачен переживаниями Акакия Акакиевича, которые он передает с большой драматической силой, то у Журавлева прежде всего вспоминаешь этот чудовищный, невозмутимый зовок — свидетельство ужасающего равнодушия к человеку.

И совсем по-другому, чем Балашов, говорит Журавлев о призраке. Он для него гораздо менее важен. В сцене, когда перед значительным лицом является призрак Акакия Акакиевича, вспоминаешь скорее не мертвеца, не привидение, а образ совершенно реального ветра, который свистит и режет и так и рвет с плеч значительного лица его шинель. Журавлев говорит о ветре так, что начинаешь ощущать его яростные, неукротимые порывы... Образ ветра становится у Журавлева образом грозной силы, которая неминуемо сметет весь этот мир насилия и несправедливости.

Журавлев умеет добиться яркой образности речи, ни в чем не нарушая простоты своего повествования. Рассказывая, Журавлев необычайно ярко, до последней мелочи видит все то, о чем говорит, и умеет «внедрять в других свои видения» (Станиславский). Можно упрекнуть артиста лишь за то, что он иногда делает это слишком настойчиво, скрупулезно вырисовывая каждую мелочь, вплоть до рисунка на табакерке и ногтя на босой ноге Петровича. Он бывает иногда слишком внимателен в обрисовке деталей и мелочей, и это нарушает композицию повествования, тягелит его. Но думается, что в дальнейшей работе это пройдет и Журавлев достигнет в «Шинели» той же гармоничности, того же ощущения свободно льющегося рассказа, так сказать, единого дыхания всей вещи, которого он добился в «Даме с собачкой», «Кармен» и других работах.

* * *

Журавлев читает «Шинель» в современном пиджаке, Балашов — в старинном сюртуке. Это внешнее различие имеет и свое внутреннее обоснование. Балашов, говоря о судьбе Акакия Акакиевича, как о типичной для того времени судьбе бедных, неправых людей, перевоплощается в образ человека той эпохи, возмущенного, измученного и уязвленного несправедливостью жизни. Журавлев говорит от имени нашего современника, пристально всматриваясь в жизнь Акакия Акакиевича сквозь разделяющую нас эпоху.

Различны и средства художественного воплощения гоголевской повести у двух чтецов. Думается, что при всей яркости и талантливости работы Балашова строгий стиль исполнения Журавлева, точно раскрывающий его интересный, свежий замысел, больше соответствует всему художественному строю повести Гоголя.

Так два мастера, каждый по-своему, прочли «Шинель», лишний раз доказав, как многообразно и богато выразительными возможностями возникшее и окрепшее в нашей стране искусство художественного слова.

Б. ЛЬВОВ-АНОХИН.